



ДЕНЬ ТРИФФИДОВ



## Глава 1

### Начало конца

Если день начинается воскресной тишиной, а вы точно знаете, что сегодня среда, значит, что-то неладно.

Я ощутил это, едва проснувшись. Правда, когда мысль моя заработала более четко, я засомневался. В конце концов, не исключалось, что неладное происходит со мной, а не с остальным миром, хотя я не понимал, что же именно. Я недоверчиво выжидал. Вскоре я получил первое объективное свидетельство: далекие часы пробили, как мне показалось, восемь. Я продолжал вслушиваться напряженно и с подозрением. Громко и решительно ударили другие часы. Теперь уже сомнений не было: они размеренно отбили восемь ударов. Тогда я понял, что дело плохо.

Я прозевал конец света, того самого света, который я так хорошо знал на протяжении тридцати лет; прозевал по чистой случайности, как и другие уцелевшие, если на то пошло. Так уж повелось, что в больницах всегда полно людей, и закон вероятности сделал меня одним из них примерно неделю назад. Легко могло получиться, что я попал бы в больницу и две недели назад; тогда я не писал бы этих строк — меня вообще не было бы в живых. Но игрою случая я не только оказался в больнице именно в те дни, но притом еще мои глаза, да и вся голова, были плотно забинтованы, и кто бы там ни управлял этими «вероятностями», мне остается лишь благодарить его.

Впрочем, в то утро я испытывал только раздражение, пытаясь понять, что за чертовщина происходит в мире,

потому что за время своего пребывания в этой больнице я успел усвоить, что после сестры-хозяйки часы здесь пользуются самым большим авторитетом.

Без часов больница бы просто развалилась. Каждую секунду по часам справлялись, кто когда родился, кто когда умер, кому принимать лекарство, кому принимать еду, когда зажигать свет, когда разговаривать, когда работать, спать, отдыхать, принимать посетителей, одеваться, умываться — в частности, часы предписывали, чтобы меня начинали умывать и приводить в порядок точно в три минуты восьмого. Это было одной из главных причин, по которой я предпочел отдельную палату. В общих палатах эта канитель начиналась зачем-то на целый час раньше. Но вот сегодня часы разных степеней точности уже отбивали по всей больнице восемь, и тем не менее ко мне никто не шел.

Я терпеть не могу обтирания губкой; процедура эта представлялась мне совершенно бессмысленной, поскольку проще было бы водить меня в ванную, однако теперь, когда губка так запаздывала, мне стало не по себе. Помимо всего прочего, губка обыкновенно предшествовала завтраку, а я чувствовал голод.

Вероятно, такое положение огорчило бы меня в любое утро, но сегодня, в эту среду восьмого мая, должно было произойти особенно важное для меня событие, и я вдвойне жаждал поскорее разделаться со всеми процедурами: в этот день с моих глаз собирались снять бинты. Я не без труда нащупал кнопку звонка и задал им трезвону на целых пять секунд, просто так, чтобы дать им понять, что я о них думаю.

В ожидании возмездия, которое неминуемо должна была повлечь за собой такая выходка, я продолжал прислушиваться.

И тогда я осознал, что тишина за стенами моей палаты гораздо более странная, нежели мне показалось вначале. Это была более глубокая тишина, чем даже по воскресеньям, и мне снова и снова пришлось убеждать себя

в том, что сегодня именно среда, что бы там ни случилось.

Я никогда не был в состоянии объяснить себе, почему учредители госпиталя Св. Меррина решили воздвигнуть это заведение на перекрестке больших улиц в деловом квартале и тем самым обрекли пациентов на вечные терзания. Правда, для тех счастливцев, чьи недуги не усугублялись ревом и громом уличного движения, это обстоятельство имело те преимущества, что они, даже оставаясь в постелях, не утрачивали, так сказать, связи с потоком жизни. Вот громяхают на запад автобусы, торопясь проскочить под зеленый свет; вот поросячий визг тормозов и залповая пальба глушителей удостоверяют, что многим проскочить не удалось. Затем стадо машин, дожидавшихся на перекрестке, с ревом и рыканьем устремляется вверх по улице. Время от времени имеет место интерлюдия: раздается громкий скрежещущий удар, вслед за которым на улице образуется пробка — ситуация, в высшей степени радующая человека в моем положении, когда он способен судить о масштабах происшествия исключительно по обилию вызванной этим происшествием ругани. Разумеется, ни днем, ни ночью у пациента Св. Меррина не было никаких шансов вообразить себе, будто обычная жизнь прекратила течение свое потому только, что он, пациент, временно выбыл из игры.

Но этим утром все изменилось. Необъяснимо и потому тревожно изменилось. Не громыхали колеса, не ревели автобусы, не слышно было ни одного автомобиля. Ни тормозов, ни сигналов, ни даже стука подков — на улицах еще время от времени очень редко появлялись лошади. И не было слышно множественного топота людей, обычно спешащих в это время на работу.

Чем дальше я вслушивался, тем более странным все представлялось и тем меньше мне нравилось. Мне кажется, я слушал минут десять. За это время до меня пять раз донеслись неверные шаркающие шаги, трижды я услышал вдали нечленораздельные вопли и один раз истерический

женский плач. Не ворковали голуби, не чирикали воробьи. Ничего, только гудел в проводах ветер...

У меня появилось скверное ощущение пустоты. Это было то самое чувство, которое охватывало меня в детстве, если я начинал фантазировать, будто по темным углам спальни прячутся призраки; тогда я не смел выставить ногу из страха, что кто-то протянется из-под кровати и ухватит меня за лодыжку; не смел даже протянуть руку к выключателю, чтобы кто-то не прыгнул на меня, едва я пошевелюсь. Теперь мне снова пришлось бороться с этим ощущением, как я боролся с ним когда-то ребенком в темной спальне. Просто поразительно, какие мы еще дети, когда дело доходит до испытаний такого рода. Оказывается, древние страхи все время шагали рядом со мной, выжидая удобного момента, и вот этот момент наступил — и все потому только, что мои глаза закрыты бинтами и прекратилось уличное движение...

Я взял себя в руки и попробовал рассуждать логически. Почему прекращается уличное движение? Обычно потому, что улицу перекрывают для ремонтных работ. Все очень просто. В любой момент на сцене могут появиться пневматические молотки, которые внесут разнообразие в слуховые впечатления многострадальных пациентов.

Но у логики есть один недостаток: она не останавливается на полпути. Она немедленно подсказала мне, что шума уличного движения нет даже вдаль, что не слышно ни гудков электричек, ни сирен буксиров. Не слышно было решительно ничего, пока часы не начали отбивать четверть девятого.

Искушение посмотреть — бросить всего-навсего один взгляд краешком глаза, не больше, просто составить какое-то представление о том, что же, черт побери, происходит, — было огромно. Но я обуздал его. Во-первых, легко сказать: бросить один взгляд. Для этого мне пришлось бы не просто приподнять повязку, а размотать множество прокладок и бинтов. Но, что самое важное, я боялся. После недели полной слепоты не вдруг наберешься храбрости шутить шутки со своим зрением. Правда, снять с ме-

ня бинты было решено именно сегодня, но это собирались сделать при специальном сумеречном свете, причем мне разрешили бы остаться без бинтов лишь в том случае, если бы обследование показало, что с глазами у меня все в порядке. Я не знал, в порядке ли мои глаза. Могло оказаться, что зрение испорчено. Или что я вообще ослеп. Я ничего не знал...

Я выругался и снова нажал на кнопку звонка. Это доставило мне некоторое облегчение.

Никто, по-видимому, звонками не интересовался. Во мне поднималось раздражение, такое же сильное, как тревога. Унизительно, конечно, пребывать от кого-то в зависимости, но куда более скверно, когда зависеть не от кого. Терпение мое истощилось. Необходимо что-то предпринять, решил я.

Если я заору в коридор и вообще начну скандалить, то кто-нибудь обязательно явится — хотя бы для того, чтобы обругать меня. Я отбросил простыню и вылез из кровати. Я ни разу не видел своей палаты, и хотя на слух я довольно точно представлял себе, где находится дверь, найти ее оказалось вовсе не просто. Несколько непонятных и ненужных препятствий встретилось мне на пути, я ушиб палец на ноге и ободрал голень, но мне удалось пройти через палату. Я высунул голову в коридор.

— Эй! — закричал я. — Дайте мне завтрак! В палату сорок восемь!

Секунду стояла тишина. Затем послышался рев голов, вопивших одновременно. Казалось, их были сотни, и нельзя было различить ни единого слова. Как будто я включил запись шума толпы, причем толпы, настроенной очень воинственно. У меня мелькнула дикая мысль, что, может быть, меня, пока я спал, переправили в дом умалишенных, что здесь не госпиталь Св. Меррина. Эти голоса просто не могли принадлежать нормальным людям. Я торопливо захлопнул дверь, чтобы оградить себя от этого столпотворения, и ощупью вернулся на кровать. В этот момент кровать представлялась мне единственным безопасным и спокойным местом во всем жутком мире.

И словно в подтверждение этого в палату ворвался новый звук, и я замер с простыней в руках. С улицы донесся вопль, дикий и отчаянный, от которого кровь застыла у меня в жилах. Он повторился трижды, и когда он затих, мне все еще казалось, что он звенит в воздухе.

Я содрогнулся. Я чувствовал, как шекочут мой лоб под бинтами струйки пота. Теперь я знал, что происходит нечто страшное. И я не в силах был больше выносить одиночество и беспомощность. Я должен был знать, что вокруг меня происходит. Я поднял руки к бинтам — мои пальцы коснулись булавок, и тут я остановился...

Что, если лечение было неудачным? Что, если я сниму бинты и окажется, что я слепой? Тогда будет еще хуже, во сто крат хуже...

Я уронил руки и лег на спину. Я злился на себя и больницу, и я произнес несколько глупых беспомощных ругательств.

Вероятно, прошло некоторое время, прежде чем я вновь обрел способность рассуждать последовательно. Я вдруг осознал, что снова ищу возможность объяснения происходящему. Объяснений я не нашел. Зато я окончательно убедился, что сегодня среда, какая бы там чертовщина ни происходила. Ибо вчерашний день был весьма примечателен, а я мог поклясться, что после него прошла всего одна ночь.

В хрониках вы прочтете, что во вторник, седьмого мая, Земля в своем движении по орбите прошла через облако кометных осколков. Вы можете даже поверить в это, если вам угодно, ведь поверили же миллионы людей. Возможно, так оно и было в самом деле. Я не могу привести доказательства ни «за», ни «против». Я не был в состоянии увидеть, что происходило; но у меня есть на этот счет кое-какие мысли. По-настоящему я знаю только то, что я провел вечер в кровати, выслушивая свидетельства очевидцев о небесном явлении, которое было провозглашено самым поразительным в истории человечества.

Между прочим, пока оно не началось, никто ни слова не слышал о предполагаемой комете или об ее осколках...

Не знаю, для чего понадобился радиорепортаж об этом, когда и так все, кто мог ходить, ковлять на костылях и передвигаться на носилках, были под открытым небом или возле окон, наслаждаясь зрелищем самого грандиозного из даровых фейерверков. Тем не менее радиокomentатор болтал не умолкая, и это с особенной силой заставило меня почувствовать, как это тяжело — быть слепым. Я решил, что, если лечение окажется неудачным, я лучше покончу с собой.

Днем в выпусках сообщалось, что предшествующей ночью в небе над Калифорнией наблюдались какие-то яркие зеленые вспышки. В Калифорнии обычно происходит столько всякой всячины, что вряд ли кто-нибудь принял это сообщение всерьез, однако сообщения продолжали поступать, возникла версия о кометных осколках, и эта версия восторжествовала.

Из всех районов Тихого океана приходили описания ночи, озаренной блеском зеленых метеоров. В описаниях говорилось: «Метеоры падают такими обильными потоками, что кажется, будто само небо крутится вокруг нас». Да так оно и должно было быть, наверное.

По мере того как линия ночи передвигалась к западу, яркость зрелища отнюдь не ослабевала. Отдельные зеленые вспышки стали видны еще до наступления темноты. Диктор, комментировавший это явление в шестичасовом выпуске вечерних новостей, заметил, что оно создает помехи радиоприему на коротких волнах, но что на средние волны, на которых ведется настоящая передача, и на телевидение оно влияния не оказывает. Он назвал это явление потрясающей картиной и настоятельно советовал не упустить случая полюбоваться ею. Он мог бы не затруднять себя советами. По тому, как взбудоражены были все в больнице, я мог судить, что случая полюбоваться потрясающей картиной не упустит никто, кроме меня.

И словно мне мало было болтовни диктора, просвещать меня сочла своим долгом также и нянечка, которая принесла мне ужин.

— Небо просто кишит падучими звездами, — сказала она. — Все они зеленые и яркие. От них лица такие страшные, как у мертвецов. Все на улицах, там сейчас светло, как днем, только что цвет другой. Иногда падают такие большие звезды, что глазам больно. Волшебное зрелище. Говорят, раньше никогда такого не было. А жалко, что вам нельзя этого видеть, правда?

— Правда, — сказал я несколько резко.

— Мы во всех палатах подняли шторы, все больные смотрят, — продолжала она. — Если бы не эти бинты, вы все увидели бы прямо отсюда.

— О, — сказал я.

— А на улице видно еще лучше. В парках и в Хите, говорят, собрались тысячи людей, стоят и глядят. И на всех плоских крышах тоже люди, все смотрят вверх...

— Не слышали, сколько это будет продолжаться? — терпеливо спросил я.

— Нет, не слыхала. Говорят, правда, что сейчас они уже не такие яркие, как в других местах. Только знаете что? Даже если бы вам сегодня сняли эти бинты, смотреть все равно не разрешили бы. Глаза сначала надо будет беречь, а некоторые звезды такие яркие. Они... У-ух!

— Что — ух? — спросил я.

— Какая сейчас была яркая, вся палата сделалась зеленой. Право, так жалко, что вам нельзя этого видеть.

— Действительно, — согласился я. — А теперь, милочка, ступайте отсюда.

Я попробовал слушать радио, но оно издавало все те же «ухи» и «ахи» попеременно с пошлыми благоглупостями о «величественном зрелище» и «уникальном явлении», и так было, пока у меня не появилось ощущение, будто для всего мира дается бал, на который не пригласили только меня одного.

Выбора у меня не было, так как в больнице радио передавало только одну программу: хочешь — слушай, хочешь — нет. Через некоторое время я стал догадываться, что спектакль пошел на убыль. Диктор посоветовал всем,

кто еще не видел, немедленно пойти и увидеть, чтобы не жалеть потом всю жизнь.

Основная идея состояла, видимо, в том, чтобы убедить меня, что я упустил ту самую возможность, ради которой родился на свет. В конце концов мне это надоело, и я выключил радио. Последнее, что я слышал, было сообщение о том, что зрелище быстро идет к концу и что мы, вероятно, через час-другой выйдем из зоны обломков.

Все это происходило вчера вечером, в этом не было никакого сомнения. Прежде всего, случись это раньше, я был бы куда более голоден, чем сейчас. Ладно, но что же тогда все это значит? Неужели вся больница, весь город праздновали эту ночь так, что до сих пор не могут очухаться?

Тут рассуждения мои были прерваны хором часов, близких и далеких, которые начали отбивать девять.

В третий раз я принялся терзать звонок. И пока я лежал в ожидании, мне послышалось, будто за дверью кто-то возится. Это было что-то вроде всхлипываний, шуршаний и шарканый, время от времени заглушаемых отдаленными криками.

Но в палату ко мне никто не вошел.

К этому времени мне было уже совсем плохо. Жуткие детские фантазии вновь овладели мною. Я напряженно ждал, что вот-вот отворится невидимая дверь и чудовищные призраки обступят меня. Я не был даже уверен, что кто-то или что-то не находится уже здесь, рядом, и не крадется неслышным шагом через палату..

Не могу сказать, что я вообще подвержен подобным штукам. Во всем виноваты проклятые бинты у меня на глазах и страшные крики в коридоре, отозвавшиеся на мой зов. Мною овладели призраки, а когда призраки овладевают человеком, сладить с ними трудно. Их уже не прогонишь веселым свистом или мурлыканьем песенки себе под нос.

Передо мной наконец в упор встал вопрос: что для меня страшнее — рискнуть зрением и снять бинты или оставаться во мраке со своими призраками?